

Содержание

<i>Вместо предисловия</i>	7
Иосиф Бродский: «...Не возвращаются на место первой любви»	9
Андрей Синявский: Клочки воспоминаний	14
Андрей Синявский (<i>продолжение</i>): Над бездной Гоголя	19
Галина Белая: Ученый и организатор	28
Сергей Курдюмов: В силовом поле синергетики	34
Сергей Бочаров: «Я знаю, какая радость настоящая работа»	40
Сергей Бочаров (<i>продолжение</i>): К вопросу о загранпоездках	47
Сергей Бочаров (<i>продолжение</i>): От «приема» к «веществу»	49
Нестор Котляревский: Культурно-историческая школа в споре с психологической	52
Александр Веселовский: У начала исторической поэтики	57
Андрей Белый: «Сквозь магический кристалл»	65
Дональд Фенджер: Творчество Гоголя – поэтика плюс компаративизм	75
Андрей Турков: «Ваш суровый друг»	77
Дмитрий Благой, Леонид Пинский, Геннадий Поспелов: Лицо филфака	82
Алик Коган: Ифлийская память	89
Зиновий Паперный: «Литованные хаханьки»	95

Юз Алешковский: Ни часа без остроты	100
С. Полетаев (Самуил Миримский): Еще один питомец ИФЛИ	104
Соломон Апт: «Гуманистическая прививка»	106
Витторио Страда: Россия как судьба	109
Ефим Эткинд: Поражительная широта интересов!	112
Чинция де Лотто. Мой путь к Гоголю	126
Рита Джулиани: «Что есть красота?»	130
Ульрих Фохт и его друзья	134
Эджидио Гундубальди: «Не стоит без праведника белый свет...»	142
Александр Чудаков: Филолог милостию Божией	145
Александр Ревич: «Говори в пространство, говори...»	148
Юрий Любимов: Искусство превосходить самого себя	151
Анатолий Эфрос: Куда ведет «Дорога»	162
Анатолий Эфрос (<i>продолжение</i>): Из XX века в XXI	174
Дмитрий Лихачев: На все времена	185
<i>Вместо послесловия: Лицо РГГУ</i>	192

Вместо предисловия

Автор книги не претендует на характеристику двухвекового периода развития культуры и на сколько-нибудь полное сравнение одного века с другим. Для этого у меня нет ни знаний, ни опыта, ни, в конце концов, самоуверенности. Цель книги гораздо скромнее – представить вниманию читателя ряд колоритных, ярких, нередко гениальных личностей, воплощающих это развитие. Разумеется, это, как говорится, минимум миниморум. Читатель вправе назвать и другие имена, привести другие примеры – никто с этим спорить не будет. Мой выбор определенно субъективен, в какой-то мере продиктован личными обстоятельствами, например имевшей место встречей с данным человеком. И встречи эти тоже весьма разные, иногда они, что называется, на всю жизнь, иногда же возникали случайно и длились весьма недолго (как, например, встреча с Иосифом Бродским). Что было, то было; преувеличивать или преуменьшать прошлое мне бы не хотелось. Пусть это будет скромной, очень скромной добавкой к опыту и знаниям, которыми уже владеет читатель, в том числе и в аспекте сравнения прошлого и настоящего, века нынешнего и века минувшего.

Вспоминается выражение, ставшее крылатым: «...Два века ссорить не хочу...» (А. Пушкин. «Евгений Онегин», глава 4, строфа XXXIII). Вряд ли кто-нибудь рискнет оспаривать право на такую позицию. Так же обстоит дело и в отношении «тысячелетий»; только тут положение особенно сложное, что дало возможность известному своим остроумием Андрею Черкизову право на ослепительную новогоднюю шутку: «Как встретишь третье тысячелетие, так его и проживешь...».

Некоторые тексты, помещаемые в настоящей книге, были опубликованы ранее¹. Для настоящего издания они дополнены и частично переработаны.

Хотелось бы выразить глубокую признательность Вадиму Тё, помогавшему мне в подготовке и оформлении компьютерного набора; Виктории Врубель, Татьяне Алексеевне Калгановой, Ирине Аркадьевне Зайцевой, познакомившимся с книгой еще на стадии подготовки рукописи и сделавшими ряд полезных и ценных замечаний.

Моя глубокая признательность и Татьяне Юльевне Журавлевой, неизменному редактору моих книг, выходивших в издательстве РГГУ, и редактору данной книги.

¹ *Мани Ю.В.* «Память-счастье, как и память-боль...». М.: РГГУ, 2011; 2-е изд. 2014.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

«...Не возвращаются на место первой любви»

Мне хорошо запомнился этот день – 12 апреля 1988 г., – когда мы с Сергеем Бочаровым, будучи участниками Гоголевской конференции в США, побывали у Иосифа Бродского. Привез нас к Бродскому Юз Алешковский, находившийся с ним в давних дружеских отношениях (об Алешковском см. далее специальный раздел).

Бродский встретил нас около маленького домика в Саут-Хелли (штат Массачусетс); там он тогда жил, а неподалеку был женский колледж, где он преподавал.

Одет он был в джинсы, рубашку навыпуск с короткими рукавами. Высокие залысины. Металлические очки, ставшие потом известными по многочисленным фотографиям.

Прошли большие сени. В комнате на столе – томик Пушкина из малого академического издания, стопка других книг, в том числе «Государь» Макиавелли. Бродский сказал, что читает его на ночь.

Тут же – пишущая машинка с вложенной страницей. Бродский пояснил потом, что пишет от руки, но ввиду плохого почерка переводит все в машинописный текст.

Едва вошли в комнату, вернее на кухню, Ира, жена Алешковского, поставила на стол пасху, кулич, еще какую-то снедь – дело происходило в пасхальные дни. А потом сразу же завязался разговор. Впрочем, разговором это назвать нельзя. Говорил один Бродский, переходя от одной темы к другой, – связь чаще всего была ассоциативная.

Довольно отчетливо обозначилось отношение Бродского к русскому провиденциализму: «Все пошло от Устрялова, Леон-

тьева, Розанова. Три человека сформулировали то, что привело к “Памяти”» (необходимое пояснение: общество «Память» воспринималось тогда как крайнее выражение отечественного национализма; сегодня есть вещи и посильнее).

Сергей Бочаров стал возражать относительно Леонтьева. Бродский: «А кто говорил, что Россия должна править нечисто-плотно?» И затем, перейдя уже к Тютчеву: «Кто проповедовал любовь к сапогу? Кто писал, если использовать выражение Вяземского, “шинельные оды”?»

В то время, о котором идет речь, отношение к Бродскому в России (т. е. еще в СССР) носило переходный характер. С момента присуждения поэту Нобелевской премии прошло не более полугода. Уже появились первые журнальные публикации его произведений. Уже Михаил Козаков с огромным успехом читал его стихи с эстрады. Но в то же время буквально накануне нашего отъезда в США в «Комсомольской правде» появилась статья с дежурными обвинениями поэта в антипатриотизме, русофобии и прочих знакомых вещах.

Мы захватили с собой номер «Комсомолки», но оказалось, что Бродский уже был знаком с публикацией, которую он назвал амбивалентной: пусть ругают, но зато многие впервые узнают из нее о его стихах.

Ю. Алешковский привез с собой еще номер «Московских новостей» с заметкой о публикации в мартовском номере «Невы» подборки стихов Бродского и послесловия А. Кушнера. Заметка называлась «Вторая ласточка».

Бродский, улыбнувшись, поправил: «Это уже *третья* ласточка». Первая – это когда в милиции его как арестованного клали на живот и привязывали руки к ногам, что на профессиональном языке и называлось ласточкой.

Я вспомнил еще, что публикация стихов Бродского с предисловием Вяч. Вс. Иванова ожидается в «Иностранной литературе». Бродский заметил с иронией: «Вот именно – в *иностранной*...»

Упомянул Бродский и о подборке стихов в «Новом мире», на которую он возлагал большие надежды, ведь это первая встреча с читателем («первая встреча!» – и сплюнул: «Никак не отдела-

ешься от этого жаргона...»). Но вышло что-то не так, как хотел Бродский, и эта публикация сильно его расстроила... Бродский даже заметил: «Как сказал японский писатель Акутагава Рюноске, у меня нет обиды, остались одни нервы» (недавно у Льва Лосева я прочитал другую редакцию этой фразы: «У меня нет убеждений, у меня есть только нервы»², – видимо, поэт варьировал свое высказывание).

Потом неожиданно Бродский подвел к столу и разложил веером стопку фотографий («не для хвастовства, а потому что интересно») – нобелевскую серию («нобелевку»): Бродский получает диплом лауреата из рук короля Швеции Карла XVI Густава; Бродский среди прежних лауреатов; Бродский с принцессой Кристиной («красивая баба!»); Бродский со своими друзьями, приехавшими в Стокгольм на церемонию вручения, – с Томасом Венцловым, Львом Лосевым и другими.

Весь разговор длился часа полтора-два. Бродский не присел, и мы тоже, переходя вслед за ним из комнаты в кухню и из кухни в комнату.

Запомнилась интонация Бродского – певучая, без пауз, фразы перетекали одна в другую, разделяемые лишь частицей «да?», – что означало то ли утверждение, то ли вопрос.

Перед уходом Бочаров подарил Бродскому недавно изданный сборник Баратынского со своей статьей (любовь Бродского к Баратынскому была известна). Я же попросил разрешения послать ему «Поэтику Гоголя», когда выйдет новое издание.

- Только на Мортон-стрит, по нью-йоркскому адресу, – сказал Бродский.
- А он не переменится?
- Теперь я уж никуда не перееду, разве что на кладбище.

Прощаясь, я заметил штабеля дров у крыльца (дрова для камина – одна из примет новой, американской жизни поэта: «Пе-

² Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 21.

ремена империи... / связана с колкой дров...» (Часть речи, Колыбельная Трескового мыса, гл. 4³). И еще я заметил откуда-то вылезшего кота. И дрова (Бродский на фоне дровяного штабеля), и кот (Бродский с котом на руках) были тотчас же сфотографированы. Позже я узнал, что Бродский очень ценил кошачье племя, считая его образцом особого рода гармонии.

Во время беседы кто-то из нас очень осторожно коснулся темы приезда на родину. Бродский ответил фразой, которую я позже в различных вариантах встречал в его интервью:

- Возвращаются на место преступления, но не на место первой любви.

Случилось так, что в ту же поездку в США мы оказались близ места, где проживал другой изгнанник из Советского Союза и нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын. Нас с Сергеем Бочаровым пригласил прочитать лекцию в Дартмутском колледже (штат Нью-Гэмпшир) преподававший в этом колледже Лев Лосев, известный поэт и литературовед (скончавшийся в мае 2009 г.). Поскольку наш обратный путь должен был проходить через штат Вермонт, мимо городка Кавендиш, где жил Солженицын, то Лев Владимирович спросил: «Не хотите ли вы посмотреть церковь, которую посещает Солженицын?» Лев Лосев хорошо знает священника этого храма отца Андрея и попросит его нас принять.

Церковь, построенная сравнительно недавно (если мне не изменяет память, в 1941 г.), была маленькой и уютной. Отец Андрей любезно показал нам (т. е. Бочарову, Юзу и Ирине Алешковским и мне) ее внутреннее убранство, рассказал об истории сооружения.

Кто-то из нас спросил: верно ли, что Солженицын является прихожанином этого храма? Отец Андрей изменился в лице:

³ *Бродский И.* Часть речи: Избранные стихи: 1962–1989 / Сост. Э. Безносова. М., 1990. С. 286–287.

- На все вопросы, относящиеся к Александру Исаевичу, я отвечать не буду.

Потом в честь православной Пасхи, которая только что окончилась, решили сфотографироваться вместе на фоне храма, но тот, кто снимал, в кадр, к сожалению, не попадал. Я решил, что снимать следует мне.

- А что, эта фотография отправится в Москву? – спросил отец Андрей.
- Разумеется, вместе со мной.

И отец Андрей отпрыгнул в сторону с такой поспешностью, как будто его хотел сзади кто-то схватить.

(Разумеется, я упоминаю обо всем этом без малейшего оттенка осуждения, на которое я не имею никакого права, – просто для характеристики времени и обстоятельств.)

Потом мы проехали через городок Кавендиш, в стороне от которого находилось владение Солженицына. Разумеется, приблизиться к этому месту и тем более попробовать встретиться с писателем – такое не приходило нам в голову.

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ

Клочки воспоминаний

С другим отечественным писателем мирового уровня – Андреем Синявским – мне довелось встречаться чаще, что позволило до некоторой степени быть свидетелем его судьбы, ее резких, значащих перемен.

Вначале – необходимое пояснение. Подзаголовок этого сообщения («клочки воспоминаний») принадлежит не мне, он был придуман давно. Правда, для сегодняшнего слуха он несколько необычен, но в свое время звучал привычнее, встречался чаще. Вот, например, передо мной произведение известного литератора А. Стаховича: «*Клочки воспоминаний*»⁴ (курсив здесь и далее мой. – Ю. М.).

Может быть, кто-нибудь все же посетует: что это за *клочки*? Что за небрежность? Вот приведете все в стройный порядок, тогда и публикуйте.

Согласен: порядок лучше беспорядка. Но все же и в таком подзаголовке есть свой смысл, свое оправдание. Мол, автор сознает, что немало можно еще досказать, дополнить и что многие это еще сделают или уже сделали. Но при этом и отдельные штрихи могут быть небесполезны в передаче портрета. В данном случае портрета Синявского.

И конечно, есть немало причин, сближающих две темы – Синявский и Белая. Это личные отношения, личная симпатия. Это глубокое отторжение от официальной идеологии, хотя у каждого был, что называется, свой путь, требующий внимательного, глубокого изучения.

⁴ Русская старина. 1896. № 4.

И я позволю себе замечания личного характера, опирающиеся на собственные, порой беглые наблюдения.

Мне довелось познакомиться с Андреем в давнюю университетскую пору. Но встречались мы редко из-за различия положений: я – студент, Андрей – уже аспирант. Пожалуй, самая продолжительная встреча случилась однажды – это участие в демонстрации, уже не помню, какой, то ли первомайской, то ли ноябрьской, когда мы вместе со всей колонной студентов одолели весь немалый путь. Почему *немалый*? Потому что сборный пункт для участников демонстрации обычно назначался не вблизи Красной площади (университет ведь рядом), а на какой-то дальней улице, чтобы побольше прошагали. И всю дорогу проговорили мы с Андреем о Маяковском, – к этому времени Синявский написал и, кажется, напечатал в толстом журнале статью о Маяковском.

Потом встречались в редакции «Нового мира», в отделе критики, – оба были начинающими авторами этого журнала. И однажды встретились на его страницах: в номере 3 за 1965 г. напечатали довольно близкие по духу критические выступления: Синявского – о Евгении Долматовском, мое же – о Е. Серебровской. И меня приятно взволновало, когда в Союзе писателей на каком-то собрании прозвучало:

Идеологическая борьба в разгаре! Борьба с буржуазным влиянием необходима! А ведь что получается? Два молодых критика осмелились поднять руку на двух выдающихся представителей социалистического реализма...

Потом мы встречались с Синявским в журнале «Советская литература (на иностранных языках)», где я работал младшим редактором отдела критики. Заведовала же отделом Розалия Наумовна Штильман, сестра известного писателя Якова Ильина, автора романа «Большой конвейер». Во многом благодаря ее настойчивости (ведь нужно было еще и убедить начальство) в журнале охотно печатали, вернее перепечатывали Синявского (журнал работал главным образом с уже опубликованными материалами).

Затем, поступив в аспирантуру, я оказался с Синявским в одном учреждении (в ИМЛИ, Институте мировой литературы), только в разных, как говорят, подразделениях: Синявский в отделе современной и советской, я же русской классической литературы.

Потом... Потом внезапное потрясение – известие об аресте Синявского и Даниэля за подрывную деятельность, передачу на Запад произведений, порочащих социалистический строй и очерняющих советскую действительность. Всех сотрудников ИМЛИ собрали в актовом зале, чтобы выступил перед нами не кто иной, как Ворошилов, человек со знаковой фамилией, в данном случае какой-то крупный начальник в КГБ. И тут я вспоминаю смелый поступок Геннадия Гачева, в ту пору тоже сотрудника ИМЛИ.

По окончании выступления Ворошилова Гена попросил слова и решительно двинулся к трибуне. На лице директора института Ивана Анисимова, председательствовавшего на собрании, изобразилось недовольство: дискуссия не входила в план мероприятия. Но у Гачева была не просто реплика, а реплика-вопрос. Мол, существует презумпция невиновности. Почему же мы осуждаем Синявского и Даниэля до суда и вообще до всякого разбора? Анисимов вскипел: «Что вы говорите? Вы хотите, чтобы я вас немедленно уволил?»

Я вспоминаю и свое поведение в ту пору, гораздо более скромное, чем отважный поступок Гачева. Больше всего я боялся, что мне предложат подписать какое-нибудь письмо против Синявского – такие письма за подписью сотрудников МГУ, где учился Синявский, уже печатались. А тут «Новый мир»!.. Доводилось слышать: одновременная работа в ИМЛИ только удобное прикрытие, неудивительно, что в такой среде вырастают Синявские... И во избежание беды я решил просто не ходить на собрания, заседания отдела, обсуждения диссертаций и т. д.

И однажды меня остановил в коридоре Уран Абрамович Гуральник, небольшой, но все-таки начальник в ИМЛИ, придерживавшийся официальных взглядов, но по-человечески очень порядочный. «Что это вы перестали ходить на отдел?» – спросил. И после паузы: «Не отвечайте, пожалуйста, не отвечайте... Я сам все понимаю».

(В интересах справедливости должен заметить, что ни одного письма с осуждением Синявского из ИМЛИ не вышло. А ведь это было основное его место работы. Начальство предпочитало шуметь и обличать у себя дома, но не выставлять себя на публичный позор.)

А потом наступили перестройка, демократизация, свобода печати, словом – новое время. Синявского и Даниэля реабилитировали. И в ИМЛИ решили пригласить своего бывшего сотрудника. Собрались в том же актовом зале, и народ был в основном тот же, правда, директор был уже не Анисимов. И Ворошилова на собрании, понятно, тоже не было.

Вместе с Андреем Донатовичем была Мария Васильевна Розанова. В перерыве же, вспоминая прошлое, Андрей сказал мне несколько дорогих для меня слов.

Собрание в ИМЛИ – не единственное, посвященное Синявскому. Много позже, 10–11 октября 2005 г., уже после кончины Андрея Донатовича, состоялась конференция во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. На специальной книге-отчете «Материалы конференции» значилась ее тематика: «Андрей Синявский – Абрам Терц: облик, образ, маска».

Позднее, 21–22 апреля 2008 г., в том же месте состоялась вторая конференция; она носила название «Прогулки с Андреем Синявским» (обыгрывалось название известной книги Синявского (Абрама Терца) «Прогулки с Пушкиным» (Лондон, 1975)).

И наконец – третья конференция, 21–22 марта 2011 г. По мысли устроителей, это было уже строго научное мероприятие, с указанием профиля («историко-литературные чтения» в двух «сессиях») и главной темы или проблемы («Андрей Синявский в контексте эпохи»). При согласии Марии Васильевны мне поручили быть председателем («ведущим») второй сессии.

Чтобы дать представление о характере конференции, приведу названия хотя бы нескольких первых докладов. Так сказать, пять докладчиков и пять тем:

М.О. Чудакова «Вклад Синявского в формирование мифа “Лихие 90-е”»;

Б.Я. Фрезинский «Илья Эренбург и советское диссидентское движение после Хрущева»;

В.А. Твардовская «Синявский и “Новый мир” А. Твардовского»;

В.В. Есипов «Синявский и Шаламов. Эстетические разногласия с советской властью»;

Д.И. Зубарев «Валин в Норках (Ленин в русской литературе 1950-х – начала 1960-х годов: Пастернак, Д. Андреев, Алданов, Гроссман, Казакевич, Абрам Терц)».

Настроение на конференции было приподнятое, творческое, и вероятно, не только мне тогда подумалось: как жаль, что Андрей Донатович этого не видит.

После отъезда Синявского в эмиграцию (1973 г.) мне не пришлось с ним больше встречаться. Единственная оставшаяся скромная форма общения – взаимные приветы, передаваемые с побывавшими у Синявского дома нашими соотечественниками.

Так Юрий Рыбчинский, замечательный художник-фотограф, по его воспоминаниям, побывал в доме Синявского на Фонтене-о-Роз, что близ Парижа, три раза; видел как шла работа над очередным сборником «Синтаксиса», делал фотографии и с мансарды, и в жилых комнатах второго этажа и в комнате-кабинете на этаже первом, где Синявский редактировал и набирал свои новые работы, и во время прогулки по живописным, поражающим посадками роз окрестностям. И каждый раз по возвращении домой, передавая мне от Синявского привет, он рассказывал о подробностях встречи с такой выразительностью, что у меня возникал, как принято говорить в таких случаях, эффект присутствия.

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ *(продолжение)*
Над бездной Гоголя

Упомянутая выше книга «Прогулки с Пушкиным» может послужить отправной точкой для понимания злободневности и остроты эстетических положений Синявского. Дело в том, что судьба Пушкина в советское время складывалась не так, как, скажем, Достоевского. Краткий период, когда Пушкина вместе с другими классиками «сбрасывали с корабля современности», сменился эпохой официального признания и почитания. Сейчас иногда пытаются представить, особенно молодые исследователи, будто бы в плохие времена официальные круги нападали на Пушкина, а люди свободомыслящие его защищали. Увы, дело обстояло иначе. К Пушкину всегда обращались за поддержкой любой доктрины. Вспомним книгу В. Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм». В более поздние годы Пушкина и вовсе канонизировали, так сказать, кооптировали в Политбюро. Процесс завершился примерно в 1949 г., когда достигла пика очередная сталинская идеологическая кампания. За непочтительное слово о Пушкине можно было поплатиться свободой и уж, во всяком случае, — работой. При обосновании тех или иных догматов цитирование Пушкина приобрело такую же силу непререкаемости, как опора на классиков марксизма-ленинизма. Цитатами из Пушкина обслуживались различные кампании: и борьба с космополитизмом, и с низкопоклонством перед Западом, и великодержавная политика «жандарма Европы». Тут были подняты на щит антипольские стихи Пушкина. Это во многом объясняет интонацию книги Синявского, которая многим, по крайней мере некоторым, казалась несколько фривольной, — объясняет, потому что в таком тоне

скрыта, говоря словами Синявского, стилистическая полемика с официальным пониманием Пушкина.

Репутация Гоголя, как это ни парадоксально, складывалась не так прихотливо, скорее даже прямолинейно: правильный сатирик, боровшийся с тем, с чем надо бороться. Гоголевская глубина, алогизм, странное и страшное сводились лишь к установке необходимого так называемого *заострения* и *типизации* – категориям, получившим чуть ли не официальную партийную поддержку. Все же таинственное, прихотливое – от лукавого и с Гоголем якобы несовместимо.

И не следует думать, что такая точка зрения ушла далеко в прошлое. Вот цитата из большой редакционной статьи одной центральной газеты, напечатанной уже в наше время, буквально две-три недели назад, – в преддверии предстоящего большого юбилея Гоголя.

Здесь с неодобрением отмечено, что в день всенародного праздника известная скульптура Андреева будет выглядеть грустно.

И далее цитата, цитата старая, начала века, но автор нынешней редакционной статьи с ней полностью согласен:

Гоголь Андреева – лицо субъективное и мало говорящее сердцу русского человека: это не Гоголь, которого мы знаем и любим... Веет от этого Гоголя какой-то загадкой! А разгадана ли вполне загадка Гоголя?.. Памятник прежде всего должен быть ясен и назидателен, а не сбивать с толку прохожего (выдержка из газеты начала XX в.).

Я думаю, что в этом контексте совершенно ясна роль книги «В тени Гоголя», которая действительно сбивает с толку, причем в буквальном смысле.

Повторяющиеся линии в повествовании Гоголя предполагают и хронологические сдвиги, и композиционные перестановки, поскольку невольно ожидаешь, что истина в таком загадочном писателе должна раскрыться именно в столкновении планов.

«В тени Гоголя» тоже начинается с эпилога, с кончины писателя и с версии, будто его погребли живым. С ним это могло случиться, говорил Андрей Донатович. Хотя этого с Гоголем все-таки не произошло, но своеобразная игра со смертью – факт гоголевской биографии. «Писатель носил в груди чувство гроба», превратив свою жизнь, по крайней мере в последние годы, в медленный процесс умирания.

И этот процесс сделался публичным зрелищем, наперекор тому природному инстинкту, который, по слову Синавского, даже зверей «учит умирать незаметно, забиваясь под бревна, под хвост, чтобы никто не углядел унижение последнего издыхания»⁵.

Чтобы прийти в такое состояние, писателю нужно было пережить страшную метаморфозу, и о ней собственно и пишет автор «В тени Гоголя».

О произведении Абрама Терца тоже хочется говорить, прибегая к композиционным перестановкам, т. е. начиная с последней главы.

Здесь затронут мотив, отразившийся во многих гоголевских вещах, больше всего в «Портрете» и «Вие», в последнем особенно.

Магия зрительного чувства и зрительного внушения становится скрытой, подспудной, собственно гоголевской темой повести. Это повесть о страшном искушении, о страшной опасности взглянуть и увидеть.

Действительно, разворачивается напряженная драма лицемерия, когда естественнейшие и вполне невинные действия вызывают упорное противостояние в виде обороняющегося жеста или даже магического заклинания и запрета на взгляд. В этой реакции, по Синавскому, проявляется элементарное чувство самосохранения, потому что Гоголю виделось нечто такое, чего не видим мы, обыкновенные смертные, по крайней мере, не видим так ясно – бездну, или, в современных понятиях, черную дыру.

⁵ Терц Абрам. В тени Гоголя. Л., 1975. Гл. 5: Мертвые воскресают. Вперед к истокам! С. 479–553.

Смеясь и плача над угодившими в очередную беду, Гоголь констатировал некую «мировую дыру» (Виктор Ерофеев), покрытую камуфляжем характера, быта, семьи, общественных и индивидуальных привычек.

Необходимо еще заметить, что гоголевское чувство самосохранения было не только естественным человеческим, но и художническим, поскольку оно оберегало его творческую способность, хотя в то же время высшие достижения писателя связаны с тем, что он дал выход этому чувству, позволил ему воплотиться. Тут хочется привести одно замечательно тонкое наблюдение Андрея Синявского (а таких масса) о роли света. Обычно время действия таинственных и злых сил – сумерки или ночь. Гоголь ночной стороной человеческого существования отнюдь не пренебрегает, но вместе с тем вторжение сверхъестественного у него ознaменовано светом, и часто светом, имеющим естественное происхождение, ибо фантастический свет не так ужасает, как это полное единение мистики и реальности, мистики и света. Тот же «Вий» годится в качестве сравнения. «Свечи лили целый поток света» в страшно освещенной церкви ночью, где был покойник. Свет как кульминационная точка зла и тьмы – поистине это гоголевская логика.

Последняя глава книги Андрея Синявского дает как бы вертикаль гоголевского мира, три предыдущих – его горизонтالي.

Первый полюс назван определенно – «Ревизор».

Второй полюс располагается где-то в районе «Мертвых душ», еще первого тома и уж, во всяком случае, определенно второго тома поэмы, не говоря уже о «Выбранных местах...».

«Ближайшим образом» противоположность этих полюсов устанавливается по принципу присутствия смеха.

«Ревизор» – кульминация смеха в творчестве Гоголя. Самое смешное, без остатка смешное его создание. Боже мой, как же это смешно, животики надорвешь. Ни до, ни после «Ревизора» так у нас никто не смеялся.

А «Мертвые души» можно спросить? После «Ревизора» Гоголь не мог смеяться, точнее он делал это остатками прошлых его сотрясений.

Я бы не подписался под этими словами, под столь кардинальным противопоставлением, хотя признаю, что доля истины здесь есть.

Конечно же, исследователь не хуже других знает, что и до «Ревизора» Гоголем писались далеко не только смешные вещи, например упоминавшийся «Вий» или «Портрет». С другой стороны, «Женитьба» и «Игроки», от которых действительно «животики надорвешь», созданы или завершены позднее. Дело в том, что «Ревизор» фигурирует в книге в очень конкретном и одновременно условном, или собирательном, смысле. Это творческая тенденция, лучше и полнее всего воплотившаяся в «Ревизоре». Это почти знак. В живой же истории все происходило, вероятно, куда более сложно и длительно.

Две стихии, столкнувшиеся в «Мертвых душах», идущие от прежнего легкомысленного сочинительства, перепелись и спорят друг с другом.

Вот, оказывается, в чем дело: «Ревизор» в наибольшей степени смешон и комичен, потому что его автор в наибольшей степени художник. Еще только художник. Это вовсе не значит, что художническое слово свободно от мирочувствия, напротив, последнее в нем-то и обнаруживается. Но обнаруживается во всей глубине, свободно, стихийно и нескованно.

Кто хоть немного знаком с творчеством и обликом автора книги «В тени Гоголя», легко догадается, что это давняя и выстраданная постановка проблемы. Она отразилась и в другой его работе, в упоминавшихся выше «Прогулках с Пушкиным». Трудно, не греша против истины (а это делалось, как вы знаете, в годы преследования Андрея Синавского), упрекать его в моральной и, смею сказать, религиозной индифферентности.

Между тем редко кто выступает с такой страстностью в защиту искусства, которое именовалось в прежние времена «чистым искусством», а в наши «безыдейным», «аполитичным», а то и «порочным», так последовательно, как Синавский.

Что же это – непоследовательность, измена принципам?

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru